

Александр Грин

Далекий путь



Александр Грин

Далекий путь

«Public Domain»

1913

Грин А. С.

Далекий путь / А. С. Грин — «Public Domain», 1913

Провинциальный чиновник Пётр Шильдеров навсегда бросает свой городок, службу, семью и отправляется в дальний путь, став «смуглокожим авантюристом Диасом»... © FantLab.ru

Содержание

I. Приют	5
II. Чиновник	8
III. Разрыв	11
IV	13

Александр Степанович Грин

Далекий путь

І. Приют

Однажды, путешествуя в горах и достаточное количество раз скатившись на одеялах по гладкому как стекло, кварцу, я, разбитый усталостью, остановился в маленьком горном кабаке-гостинице, так как эти учреждения пустынных мест обыкновенно соединяют приятное с полезным. Мой проводник, Хозе Чусито, давно уже, завязав шею платком, жаловался на кашель и выразительно смотрел на меня, делая как бы невзначай губами сосущие движения. Так как эта манера намекать вошла у него в привычку и действовала раздражающе, я, посмотрев на него благосклонно, сказал:

– Хозе, нам надо переночевать и поужинать.

Он перестал кашлять. Одолев еще несколько винтообразных тропинок, иногда падающих почти отвесно к головокружительным выступам, очерченным седым туманом провалов, мы вышли на плоское расширение почвы, и в наступающих сумерках блеснуло нашим утомленным глазам несколько тусклых огней, равных по силе впечатления коронационной иллюминации. Сняв ружья, мы подошли к настежь распахнутой двери небольшого, сложенного из дикого камня здания, и запах жилья радушно защекотал наши носы, чрезмерно облагороженные возвышенными ароматами горных трав и снегов.

У грубо сделанного гигантского очага сидело большое общество. Это были, как мог я определить, бегло осмотрев всех, охотники, пастухи, рабочие с соседних имений и случайные посетители, подобные нам. Пестрые, вызывающие костюмы этих людей состояли из полосатых шерстяных одеял, перекинутых через плечо или лежащих на коленях владельцев, сорочек из бумажной ткани, широких поясов и брюк, обшитых во всю длину бахромчатыми лампасами из перьев или конского волоса. Широкополые зонтики-шляпы делали все лица похожими друг на друга неуловимой общностью выражения, придаваемого им именно таким головным убором. У некоторых, оттягивая пояса, висели на бедре в кожаных кобурах револьверы, но были и старинные пистолеты; обладатели этого рода оружия, как я убеждался неоднократно, – превосходнейшие стрелки. Всего было четырнадцать человек, без нас; трое из них лежали на животах, головами к огню, изредка нагибая голову, чтобы хлебнуть из стоящего перед губами стакана; двое беседовали у стойки; остальные, сидя на табуретах, вернее, обрубках дерева, усердно молчали, скрестив на груди руки и дымя папиросами.

Очаг жарко пылал, призрачно освещая сухие, полудикие лица и пристальные глаза; кирки и лопаты, брошенные в углу, сверкали железом; на стене, за стойкой, над головой погруженного в бухгалтерию хозяина – человека невзрачного, с толстыми губами и серьгой в ухе – висели ружья. Хозяин старательно муслил карандаш и чесал за ухом. Хозе остался с мулами за порогом, и я слышал, как нетерпеливо звенели бубенчики голодной скотины, без сомнения, в данный момент равной нам по сходству желаний. Обратив на себя общее внимание, так как я был одет по-своему, я подошел к стойке и спросил о ночлеге.

Цена оказалась высокой, что, по-видимому, целиком определялось фантазией содержателя этой гостиницы. Кивнув головой, но отомстив толстым его губам взглядом великодушного снисхождения, я вышел, сопровождаемый конюхом. Устроив и накормив мулов, мы возвратились под крышу нашего монрепо¹.

¹ Монрепо (франц. mon repos – мой отдых) – убежище, приют.

Насколько остро было привлечено внимание всех моей особой минут десять назад, настолько же теперь оно улетучилось, и каждый как бы отсутствовал. Мои скитания приучили меня к сдержанности. Я и Хозе, взяв бутылку вина, сели, разостлав плащи, к стене; вино, кусок жареной свинины и грубый хлеб заставили нас повеселеть, а Чусито, набив рот, пустился в длинное рассуждение о высоте Сениара, уверяя, что это величайшая гора в мире, и дух ее, некий Педро-ди-Сантуаро, родственник богатого скотопромышленника, украл из горы все золото с целью выкупить душу своей жены, осужденную томиться в геенне за продажу распятия прощельге-язычнику.

Легенду эту я слушал в полудремоте, разнеженный едой и вином, думая, в свою очередь, о пылком воображении Хозе, готового за бутылку вина лгать целую ночь. «Педро-ди-Сантуаро, – повторял он, не забывая свой стакан ни на одну минуту, – отправил сто кораблей с золотом в ад, но сатана потребовал больше во столько раз, во сколько Сениар больше ванильного зернышка. Тогда Педро...»

Он продолжал дальше, но здесь человек, вошедший одновременно с произнесенным Хозе именем Педро, как бы окликнутый, повернулся и внимательно осмотрел нас с готовностью отвечать. Я невольно рассмотрел его пристальнее, чем других, как будто раньше видел его и говорил с ним. Таково во многих случаях впечатление национального типа, хорошо изученного, но встреченного среди чуждого национальности этой яркого и утомительного разнообразия.

Я заранее описываю наружность этого человека, хотя он и не занимает еще в рассказе своего места. Лицо, изрытое оспой, с глазами, на первый взгляд подслеповатыми, могло потягаться мужественностью и резкостью выражения с любым из присутствующих: что касается глаз, то они были малы, далеко поставлены друг от друга и почти лишены бровей; это-то и делало их как бы слабыми в выражении. Спустя секунду я нашел их живыми и ясными. Круглая русая борода скрадывала подбородок; небольшие усы, открывая край верхней губы, странно, как и борода, выделялись светлым своим цветом на кофейном загаре лица. Он был в пестрой грубой одежде, вооружен короткоствольным штуцером, двигался лениво и мягко.

Я встал, так как отсидел ногу, и сделал несколько шагов к очагу; нога, как неживая, подвертывалась и ныла. Я выругался по-русски, растирая колено. В тот же момент неизвестный с улыбкой сильного удивления стукнул ружьем о пол и, значительно смотря на меня, повторил слова, произнесенные мной, прибавив: «Кто вы?» Это он сказал тоже по-русски, без малейшего иностранного акцента.

– Я русский, – ответил я, вытаращив глаза, и назвал себя.

Он продолжал пристально смотреть мне в глаза, затем нахмурился и громко сказал:

– Я – здешний и не понимаю вас.

Сказав это, он отошел и скрылся; тотчас же отошли от меня и любопытные, привлеченные звуками неизвестного языка.

«Это русский», – сказал я себе, интересуясь соотечественником в данный момент более, чем новым видом птицы ара, открытым мною две недели назад.

Хозе дернул меня за плащ.

– Еще одну бутылку – и спать? – вопросительно заявил он нежным, как флейта, голосом.

Я разрешил ему делать все, что он хочет. Затем, выйдя из гостиницы, осмотрелся и подле дверей увидел сидящего на каменистом выступе почвы неизвестного русского.

Он был, казалось, в глубокой задумчивости, но, услышав мои шаги, обернулся с поспешностью человека, привыкшего быть настороже в этих опасных природою и людьми местах. Я сказал:

– Встретить мне вас и вам меня тут – это не совсем то же, что на углу Дворянской и Спасской. Я думаю, мы могли бы поговорить с интересом.

– Я совсем не стал бы говорить с вами, – возразил он, помедлив (и страннее седых волос у юноши мне было слышать подлинную русскую речь из уст туземца темной профессии), – если бы не подумал наедине кой о чем.

– Вы эмигрант?

– Нет.

Я помолчал, ожидая, в свою очередь, известных вопросов. Неизвестный молчал тоже, и молчание наше, поглощенное сонной тишиной колоссальной громады гор, тучами окружавших ночную долину, приняло неприятный оттенок. Тогда, желая из самолюбия поставить на своем, я сделал на завтра предсказание погоды самое пустое в смысле дождя и бури. Он возразил мне, основываясь на местных приметах, совершенно противное. Я согласился, прибавив, что местное вино плохо. Он обошел этот вопрос молчанием и похвалил лошадей. Я сделал скачок к туземным нравам и женщинам. Он выразил надежду, что они лучше, чем кажутся. Я коснулся политики. Он заметил вскользь, что люди наивны. Я заговорил о Европе, он – о России. Здесь я тихо подкрался в обход и нанес ему подлый удар сзади, сказав, что он не похож на русского.

И лишь только после того, как весь этот, совершенно в русском духе и вкусе, разговор привел нас окольными путями к особе неизвестного человека, получил я возможность, все еще добывая его слегка искусными репликами, выслушать глубоко-человеческую повесть об одной из немногих побед, побед блестящих и бескорыстных, подобных войне мысли с телом, и беглые заметки мои впоследствии превратились в этот рассказ, переданный отрывочно и скупо, но с теми моментами, для которых и растут уши на голове слышащих.

II. Чиновник

Я служил столоначальником² в Казенной Палате³. Меня звали Петр Шильдеров. Город, в котором я жил с семьей, был страшен и тих. Он состоял из длинного ряда домов мертвенной, унылой наружности – казенных учреждений, тянувшихся по берегу реки от белого, с золотыми луковками, монастыря до губернской тюрьмы; два собора стояли в центре базарных площадей, замкнутых четырехугольниками старинных торговых рядов с замками весом до двадцати фунтов. На дворах выли цепные псы. Малолюдные мостовые кое-где проросли травкой. Деревянные дома, выкрашенные в серую и желтую краску, напоминали бараки умалишенных. Осенью мы тонули в грязи, зимой – в сугробах, летом – в пыли. Вокруг города тянулись выгоны – сухое болото.

Я прослужил в этом городе пять лет и на шестом запил. Иногда, сидя в так называемом на губернском языке «присутствии», т. е. находясь на службе, я замечал, что монотонный шелест бумаги и скрип перьев, постепенно согласуя звуки и паузы, сливаются в заунывную мелодию, напоминающую татарскую песню или те неуловимые, но гармонические мотивы, которыми так богат рельсовый путь под колесами идущего поезда. Тогда, разрушая унылое очарование, я шел к архивариусу и в полутемном подвале пил с ним водку, стоявшую постоянно за шкапом. Жена прихварывала. Возвращаясь со службы, я часто заставал ее с уксусным компрессом на лбу, читающей лежа старинные бытовые романы, в которых, как выражалась она, нравятся ей «правда, подлинность, настоящая жизнь». Мои дети, мальчик и девочка, робкие и сварливые существа, хныкали и жаловались друг на друга так часто, что я почти не замечал их присутствия. По вечерам, если это было летом или весной, я сидел на бульваре, смотрел на молодых чиновников, бросающих с обрыва в реку камешки, и думал.

Когда я спросил себя в первый раз – «что я такое – животное или человек?» – меня охватил ужас. Вопрос требовал ответа прямого и беспощадного, со всеми вытекающими отсюда заключениями. Мысль буйствовала, как бык на бойне, и я отдался ее возмущенной власти. Я провел две недели в сказочном состоянии цыпленка, вылезавшего из скорлупы. Я думал на ходу, во сне, за обедом, на службе, в гостях. Результатом этого огромного напряжения души явился в один прекрасный день вывод. «Я должен стать другим человеком и жить другой жизнью».

Чтобы определить вполне и точно, что именно для меня прекрасно и ценно, что безобразно и совершенно не нужно, – я взял противоположности, вернее, контрасты, приняв как истину, что все, составляющее мою жизнь теперь, плохо. Разумеется, я сделал частное определение каждой стороны действительности, так как в целом сила желаний, когда я старался представить новую жизнь, являла воображению моему лишь светлый круг горизонта, полного призраков. Закон контраста равно помог как моей мысли, так и воле, и исполнению мною задуманного.

Итак, я находился во власти непреодолимого желания, лишеного яркой цели. Мне следовало узнать, чего я хочу. Я взял окружающее и, как уже сказал выше, противопоставил каждой стороне его мыслимый, возможный в действительности же, контраст.

Согласно этому порядку исследования душевного своего состояния, я выяснил следующее. Моя жизнь протекала в сфере однообразия – ее следовало сделать разнообразной и пестрой. Я жил принудительными занятиями. Полное отсутствие принуждения или, в крайнем случае, работа случайная, разная – были мне более по душе. Вместо унылого сожительства с нелюбимой семьей я хотел милого одиночества или такого напряжения страстной любви,

² Столоначальник – заведующий отделением канцелярии министерства, департамента и т. п.

³ Казенная палата – в царской России – губернское учреждение по налогам.

когда немислимо бодрствовать без любимого человека. Общество, доступное мне, состояло из людей-моллюсков, косных, косноязычных, серых и трусливых мужчин; их всех радостно променял бы я на одного, с неожиданными поступками и речами и психологией, столь отличной от знакомых моих, даже соотечественников, как юг разен северу.

Разнообразие земных форм вместо глухой русской равнины казалось мне издавна законным достоянием всякого, желающего видеть так, а не иначе. Я не люблю свинцовых болот, хвойных лесов, снега, рек в плоских, как иззубренные линейки, берегах; не люблю серого простора, скрывающего под беспредельностью своей скудость и скуку. Против известного, обычного для меня с момента рождения, следовало поставить неизвестность и неизведанное во всем, даже в природе, устранив все лишения чувств.

Размыслив над всем этим, я увидел, что решил первую треть задачи, ответив на вопрос «что?», следующий – «как?» – должен был находиться в строгом соответствии с необычностью мной задуманного; отсутствие смягчающих переходов и всего, что может ослабить впечатление конечного результата, являлось необходимостью. Сеть, опутавшую меня, я должен был не распутать, а разорвать. Если к арестованному будет ходить каждый день начальник тюрьмы, твердя: «Скоро вас мы отпустим», – несчастный лишится доброй половины грядущего удовольствия – выбежать из клетки на улицу. Таким образом, я хотел стремительного и резкого, по контрасту, освобождения.

Теперь – это, может быть, самое главное – вы узнаете, почему я живу здесь. Мальчик, мой сын, принес книжку из школьной библиотеки – то были охотничьи рассказы, написанные языком невыразительным, но простым, в расчете на самостоятельную работу воображения юных читателей. Жена моя сидела в другой комнате, занимаясь выводкой пятен на шерстяной кофте. Я был один. Скучая и утомаясь овладевшими мною мыслями, я присел к столу, где лежала забытая уснувшим мальчиком книга, и стал ее перелистывать, рассматривая старые раскрашенные картинки, оттиснутые грубо, так, что смешивались узенькими полосами границы красок, и вскоре задумался над одной из этих картинок так, как задумываются после высказанной кем-либо случайно фразы, имеющей однако для вас известный смысл наведения.

Знакомо ли вам очарование старинных рисунков? Секрет их особого впечатления заключается в спокойной простоте линий, выведенных рукой твердой, лишенной сомнений; рисующий был уверен, что изображаемое подлинно таково; с наивностью, действующей заразительно, руководясь лишь главными зрительными впечатлениями, как рисуют до сих пор японцы, художник изображал листву деревьев всегда зеленой, стволы – коричневыми, голую землю – желтой, камни – серой, а небо – голубой краской; такое проявление творчества, данное человеком, по-видимому, бесхитростным и спокойным, действует убедительно. Несокрушимая ясность линий почти трогательна; прежде всего вы видите, что рисунок сделан с любовью.

То, что рассматривал я, было иллюстрацией к одному рассказу, с подписью: «Горные пастухи в Андах». В темно-коричневом с одной стороны и светло-желтом – с другой, горном проходе, в голубом воздухе, под синим небом, по крутой горной тропинке, поросшей ярко-зеленой травой, спускалось к тоже очень зеленому лугу стадо лам, а за ними, верхом на мулах, в красных плащах, лиловых жилетах и желтых шляпах ехали всадники с ружьями за спиной. На заднем плане, нарисованная голубым и белым, виднелась снеговая гора. На сером уступе скалы сидел красно-синий кондор.

Я остановился на этом рисунке долее, чем на остальных. Именно смутное очарование представлений о загадочном, грандиозном и недостижимом владело мной; рисунок этот как бы перебрасывал мост к огромному миру неизведанного, давая в скупом и грубом намеке простор мысли. Кроме того, в раскрашенном кусочке бумаги было нечто, говорящее мне безмолвной речью ассоциаций. Так же, как человек, остановивший, например, внимание свое на слове «кукушка», неизбежно представит в той или иной последовательности крик этой птицы «ку-ку!», лесную тишину, обычай загадывания, подумает о суеверном чувстве и суевериях, – я

мысленно перенесся к загадочной для меня стране, размышляя о роскошной растительности, покрывающей склоны гор, о малой населенности тех мест, о неожиданностях природы, вечном горном молчании, опасностях и лишениях, неизвестном языке жителей, обычаях их и характере, и скоро увидел, что здесь для меня нет ничего известного, что я в размышлениях и ассоциациях своих отрезан от этой страны полной невозможностью представить себе что-либо наглядно. Я был здесь в области общих слов и понятий: гора, лес, человек, река, зверь, дерево, дом и т. п. Таким образом, я нашел неизвестное по всем направлениям и в той мере, в какой это возможно, вообще на земле, в условиях трех измерений. Мне предстояло наполнить отвлеченные мои представления содержанием живым, ясным и ощутительным.

Я встал и начал ходить по комнате, продолжая мысленно смотреть на рисунок. Он вскоре исчез; я видел полное вечерней прохлады ущелье, игру света на выщербленном камне откосов, глубокую пасть долины, сверкающий обрез ледника, похожий на серп луны, тени огромных птиц, скользящие под ногами, и всадников. Они проезжали узкой тропой. Лиц я не видел, но чувствовал их суровыми и спокойными. Мулы шли тихо, позванивая бубенчиками; этот отчетливый в тишине звон был ясен и чист. Из-под копыт, шурша, скользили камешки и падали, подскакивая, в долину. «Скоро наступит ночь, – подумал я, – но долго еще в тишине и прохладе будут звенеть бубенчики, фыркать мулы и шуршать камни». Невыразимая тоска овладела мной, как будто чудесной силой был вырван я и брошен из этих мест, полных красоты, величия и свободы, в рабство и нищету.

Отныне я находился в плену своего желания быть там, куда потянуло меня всей душой и где я нашел вторую, настоящую родину. У человека их две, но не у всякого; те же, у кого две, знают, что вторую нужно завоевать, тогда как первая сама требует защиты и подчинения.

III. Разрыв

Два дня спустя я сидел у ворот на лавочке. Был теплый июльский вечер. Против нашего дома возвышалось здание арестантских рот, из его решетчатых окон пахло кислой капустой, кашей и постным маслом. В соседнем переулке мальчишки играли в бабки. С поля показались стадо коров; мыча, махая хвостами, в клубах сухой пыли лениво двигались искусанные оводами животные, распространяя терпкий запах навоза и молока. Коровы сами заходили в дворы, стадо их постепенно таяло, а пастух на ходу без всякой надобности трубил в рожок, проворно шлепая босыми ногами.

Солнце село, но было еще светло. Наступил час, когда жители Косой улицы выходили к воротам и, сидя на лавочках, грызли в идилическом настроении семечки, или репу, или же «жали масло», т. е. сидящие по краям старались стиснуть одного из средних так, чтобы у него затрещали кости и он, не снеся маслобойства, выскочил. Хорошее настроение, созданное кротким вечером и теплом, достигало зенита, почти умиления, в тот момент, когда после проверки арестанты в исправительном заведении становились на молитву. Они пели «Достойно», «Отче наш» и другое сильными, хорошо спевшимися голосами двухсот крепких мужчин. Торжественные звуки молитвенного пения создавали в тишине вечера настроение благодати и покоя.

Когда арестанты пропели все и внутри мрачного здания раздались зычные выкрики надзирателей, я, вернувшись к постоянным своим мыслям, почувствовал недовольство собой. Мне показалось, что я всегда буду жить так, как теперь, и ни на что не осмелюсь, но тут же представил, как, не медля ни одного мгновения, встаю и ухожу навсегда. Я так ясно вообразил это, что взволновался. Мною овладел нервный трепет, предвестник решений. Прошло еще несколько минут подземной работы мысли – и тут как бы повязка упала с моих глаз: я увидел, что я свободен, ничем не связан и волен распоряжаться собой.

Я встал и более не колебался. Жена с детьми ушла к знакомым «подомовничать» – обычай нашего города. Это значит, что хозяйева где-нибудь в гостях и просят знакомых побыть в их квартире, присматривая за детьми и прислугой. В сумеречных комнатах было тихо и грустно. Я открыл комод, взял сто рублей, испорченные золотые часы, паспорт и вышел на улицу.

Разумеется, все это были еще приготовления. Ничто не мешало мне вернуться и положить деньги на место. Еще не был отрезан путь отступления. Даже от пароходной пристани я мог повернуть назад. Сознание этого доставило мне несколько унылых минут. Я боялся внезапной слабости, малодушных и казуистических размышлений, но, к счастью, увидел, что нахожусь в лихорадочном состоянии беглеца, в азарте. Первые шаги мои были медленны и тревожны, со стороны я мог показаться человеком, гуляющим от безделья.

Да, первая сотня шагов по направлению к пристани оказалась самым трудным и большим делом. Я знал уже, что не возвращусь. Чувство оторванности я изведаль тотчас, как вышел на улицу, но было в нем нечто окрыляющее и безразличное. На углу я остановился и обернулся. За черемухой серела крыша оставленного мной дома. И я пошел далее, ускоряя шаги, к вечернему пароходу.

За три следующих месяца я испытал, видел и пережил столько, что иному хватило бы на всю жизнь. Через границу я перебрался удачно, хотя и слышал как свистят пули линейных винтовок. Я тщательно берег деньги, но их было так мало, что скоро не стало совсем. Я помню долгие дни лишений, голода ночлеги в трущобах и под открытым небом, томительные пешие переходы в знойные дни, полицейские участки, милостыню, окурки, подобранные на тротуарах, краденые плоды, случайную работу на виноградниках. Все это мне мило и радостно. Наконец я увидел светлые земли юга, в цветах и торжественной тишине синего неба, и славную даль морей; услышал, как стучит винт корабля, как звенит летний прибой, гудит мистраль и гулко воеет сирена, струя белый пар содрогающихся от безделья котлов.

Я поступил матросом, но рассчитался, как только пароход бросил якорь в устье величайшей реки мира. Искатели каучука на специальном промышленном пароходе увезли меня далеко от океана. Я работал с неграми, подсекая в ядовитых болотах стволы, чтобы извлечь несколько капель драгоценного сока, быстро твердеющего на воздухе. В этих сырых лесах царят вечные сумерки, опасности и болезни: растут без солнца бледные молочайники, яркие цветы паразитов, гигантские папоротники и все, что незнакомо нашему взгляду: растительность странных, капризных форм чудовищной силой размножения глушит отравленную перегноем землю.

Я заболел лихорадкой, валяясь среди негров в изнеможении и бреде. Каждый день, после захода солнца, на огненных от костра полянах прыгали, сверкая белками, под звуки ужасной музыки, мои чернокожие приятели; неизменное их добродушие и веселость были воистину удивительны. В часы просветления я внимательно смотрел на их дикие па, вспоминая подсмотренный мною однажды хорошенький танец кроликов, черных, как пуговицы. Но тусклый день снова приносил жар и бред, и незаслуженные человеком мучения, и тысячи огненных солнц преследовали меня, в кайме оранжевых змей, плотных и жирных, касающихся воспаленного моего лица тяжелой болью озноба. Я умирал, но не умер.

Простите, дорогой – не соотечественник, дорогой иностранец, – прошло десять лет. Но я умолкаю. Вы слышите – за дверью спор, шум, все кричат, бьют в ладоши, как будто нам нужно встать? Посмотрим, в чем суть веселья!

IV

Мы встали, а навстречу нам Хозе Чусито вышел, покачиваясь. Зевая, он посмотрел на звезды, потом, заметив меня, сказал преувеличенно твердым голосом:

– Вы прогуливаетесь? Я хотел спать, да мне помешали. Подбивают меня в партию отыскать новый проход. Случилось несчастье. Это для нас важно, ужасно важно. Сто пятиэтажных домов свалились на Красную седловину, иначе говоря, сударь, такого обвала старики не запомнят. Торговый проход разрушен. Погонщики в отчаянии, а те, которым надо по ту сторону, рвут и мечут. Так вот, я говорю, подбирают партию за хорошие деньги поискать свежую тропочку. Торговцы, которые покрупнее, не пожалеют золота. Вы как думаете?

– Надо-быть, так, – сказал я, посмеиваясь. Удерживать Хозе не было смысла, его, видимо, соблазняла мысль, оставив меня, поискать счастья более ощутительного, чем те небольшие суммы, которые давал ему я. Он все равно удрал бы, сославшись из вежливости на горло. – Желаю тебе успеха.

– Как! – горестно воскликнул Хозе. – Я более вам не нужен? Впрочем, – торопливо прибавил он, опасаясь с моей стороны выражений растроганности и признательности, – впрочем, вы не раскаетесь. Я дам вам такого – такого человека, что вы запоете. Это клад, а не человек. Такого нигде не сыщешь. Мозговатее парня еще не было.

Я перебил его восторженные описания чудо-парня, и мы втроем подошли к стойке. Возле нее сгрудилась, облокотившись и подперев ладонями головы, толпа заинтересованных прохожих; каждый вставлял замечания, подавал советы, расписывал самые отчаянные маршруты цветами радуги. То волновалась, жестикулируя и крича, молодежь; люди серьезные торопливо ждали, когда им дадут открыть рот. Эти внушительно и вкрадчиво толковали о холоде на высоте тринадцати тысяч футов, о теплой одежде и умной нетерпеливости. Я слушал их одним ухом; мой удивительный собеседник, «русский», – или как было его назвать теперь? – сунув руки в карманы, смотрел на новое для меня лицо, делая вид, что задумался и посматривает рассеянно.

Это была женщина лет восемнадцати-двадцати, с немного вздернутым носом, насмешливой тоской глаз и маленьким ртом. В смуглом ее лице светило упорство, способное перейти в ненависть. Назвать ее красивой было нельзя, хотя природная грация маленькой, крепкой фигуры и бессознательное кокетство жестов вызывали пристальную улыбку. Так же, как и другие, она, подперев крошечными руками непричесанную голову, слушала разговор мужчин. Поза ее и выражение лица были воплощением важности. Я улыбнулся.

Почувствовав упорный взгляд сзади, женщина обернулась.

– А, Диас, – равнодушно произнесла она. – Вернулся?

– Только и делаю, что ворочаюсь, – сказал недавний мой собеседник.

– Лучше бы уходил все время.

– Вот что, Лолита...

Она вздохнула, выпрямилась и, внимательно осмотрев с ног до головы Диаса, перешла к другому концу стойки, где, погрузив снова лицо в растопыренные около ушей пальцы, принялась слушать, морща лоб, что говорят погонщики.

Хозе и Диас замешались в толпу. Я, обессиленный усталостью, лег на разостланное мне благодарным Чусито одеяло и, сунув под голову седло, стал дремать. Новые, неизведанные донные ощущения и соображения преследовали меня. Я думал о таинственной власти имен, пересекающих наше сознание полным превращением человека, уничтожением расы, крови, привычных ассоциаций. Диас есть Диас. Никакими усилиями воображения не мог я представить его русским, но, может быть, и не был он им, принадлежа от рождения к загадочной орлиной расе, чья родина – в них самих, способных на все.

Наконец я уснул беспокойным дорожным сном и пробудился как от толчка. Может быть, чье-либо резкое восклицание было тому причиной. Полузакрытыми глазами я наблюдал некоторое время людей, толпящихся вокруг стойки, Лолиту и Диаса. Он снова подошел к ней, сказав:

– Я, пожалуй, отправлюсь с ними.

– Что ж? Заработай...

– Очень долго, – возразил он нерешительно. – Ты же знаешь, почему.

– Не приставай, – сказала Лолита. – Что ты ходишь вокруг меня? Сядь. Лучше слушай, что говорят.

– Лолита!

– Ну?

– Слушай...

– Слушаю.

– Ты мне ничего не скажешь?

Она посмотрела на него искоса, неохотно и хмыкнула. Диас уныло повернулся в мою сторону, прищуриваясь, так как блеск огня мешал ему видеть.

Я снова уснул. Меня разбудил Хозе. С первого же взгляда я понял, что человек этот собирался разыскивать «тропочку». Все на нем было подвязано, укреплено, подтянуто и застегнуто. В хижине, кроме нас, никого не было. Утренние горы смотрели в открытую дверь сияющими провалами и рощами, а на земляном полу дрожал свет.

Уступая соболезнующему тону Хозе (он смотрел на меня с жалостью, как нянька, покидающая ребенка), я подтвердил еще раз, чтонисколько не сержусь на него, и вышел на двор. В загородках, у привязи, покорно шевелили ушами нагруженные вьючной покладью мулы; несколько вооруженных людей осматривали упряжь, торопливо дожевывая скудный завтрак. Я подошел к Диасу.

– Куда направитесь вы? – спросил он.

Я сказал.

– Вероятно, мы не увидимся, – заметил он. – Прощайте!

Обдумав вопрос, который вертелся у меня на языке еще вчера, я сказал:

– Как вы чувствуете себя в этой стране?

– Очень хорошо и приятно.

Сняв шляпу, он поклонился, улыбнулся и отошел. Через минуту стали выводить мулов; животные, сопровождаемые каждое одним человеком, огибали дом, тихо звеня бубенчиками и фыркая. Диас замыкал шествие. Караван вытянулся гуськом, и передние начали уже спускаться в балку, поросшую черно-зеленым кустарником. Девушка, которую я видел вчера, помчалась сломя голову к арьергарду и, догнав Диаса, пошла рядом с ним, положив ему на плечо руку и что-то рассказывая. Затем, в виде прощальной ласки, она запустила пальцы в волосы молодого человека и стала трепать их, мотая покорно улыбающейся головой. Диас, понятно, не сопротивлялся.

Она не пошла вниз, а остановилась на обрыве, смотря, как, перевалив балку, взбираясь на косогор, шествуют по крутой, среди скал, известковой тропе осторожные мулы. Вернувшись, она прошла мимо меня, едва заметив мое присутствие.

Я обдумывал рассказ Диаса. Он ушел, оставив мне тихое волнение радости. Люди, подобные этому человеку, не одиноки. Их семья, цыганское племя, великодушное и строптивое, рассеяно всюду. Я вспомнил тысячи безыменных людей, «плавающих и путешествующих», когорты авантюристов, проникающих в неисследованные места, безумцев, возлюбивших пустыню, детей труда, кладущих основание городам в чаще лесов. Их кости рассеяны за полярным кругом, и в знойных песках черного материка, и в дикой глубине океана. Вторая, настоящая родина торжественной силой любви влечет одинаково искателя приключений

и начальника экспедиции, командующего целым отрядом; ничто не останавливает их, только смерть. Своей смертью они умножают везде жизнь и трепет борьбы.

Снежные волны гор окружали меня. Я долго смотрел на них с дружеским, теплым чувством, веря их безмолвному обещанию очистить сердце и помыслы.